

СОДЕРЖАНИЕ

Разумеется, рукопись 11

Примечание автора 16

Пролог 19

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ЧАС ПЕРВЫЙ, где описано прибытие к подножию аббатства, причем Вильгельм проявляет величайшую проникательность 25

ЧАС ТРЕТИЙ, где Вильгельм с Аббатом имеют содержательнейшую беседу 30

ЧАС ШЕСТЫЙ, где Адсон изучает портал церкви, а Вильгельм после долгой разлуки видится с Убертином Казальским 41

Перед часом девятым, где Вильгельм ведет ученейший диалог с травщиком Северином 67

После часа девятого, где при посещении скриптория состоялось знакомство со многими учеными, копиистами и рубрикаторами, а также со слепым старцем, ожидающим Антихриста 72

Вечерня, где осматриваются прочие постройки, Вильгельм предлагает версию гибели Адельма и ведется беседа со стекольным мастером о стеклах для чтения и остратке для тех, кто слишком любит читать 82

Повечерие, где Вильгельма и Адсона ожидают щедрое угощение Аббата и суровая отповедь Хорхе 89

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Полунощница, где краткие часы мистического восторга оканчиваются самым кровавым образом 93

ЧАС ПЕРВЫЙ, где Бенций Упсальский кое-что рассказывает, еще кое-что рассказывает Беренгар Арундельский и Адсон узнает, каково подлинное раскаяние 100

ЧАС ТРЕТИЙ, где невежи бранятся, Имарос Александрийский кое о чем намекает и Адсон задумывается о природе святости и дьяволовом дерьме. Затем Вильгельм и Адсон поднимаются

в скрипторий, Вильгельм находит нечто любопытное, в третий раз дискутирует о позволительности смеха, но в конце концов не успевает рассмотреть что нужно 110

Ч а с ш е с т ы й, где Бенций ведет странные речи, из каковых выясняются не слишком приглядные подробности жизни обители 124

Ч а с д е в я т ы й, где Аббат выхваляется богатствами обители и опасается злодейств еретиков и в конце концов Адсон сожалеет, что решился повидать мир 128

П о с л е в е ч е р н и, где, невзирая на краткость главки, старец Алинард сообщает много интересного о лабиринте и как в него попадают 142

П о в е ч е р и е, где открывается Храмина, в ней оказывается загадочный лазутчик, обнаруживается записка некромантским тайным шифром, а также на мгновение показывается и снова исчезает книга, которую предстоит искать во многих последующих главах; в довершение неприятностей украдены Вильгельмовы очки 146

Н о ч ь, где удастся наконец попасть в лабиринт, увидеть непонятные видения и, как положено в лабиринтах, – заблудиться 152

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

От утрени до часа первого, где обнаруживается кровавая простыня в келье пропавшего Беренгара – и это все 161

Ч а с т р е т и й, где Адсон философствует об истории своего ордена и о судьбе различных книг 162

Ч а с ш е с т ы й, где Адсон выслушивает признания Сальватора (которые двумя словами не перескажешь), отчего и погружается в тревожащие раздумья 166

Ч а с д е в я т ы й, где Вильгельм рассказывает Адсону о великом еретическом течении, о пользе простецов для церковного дела, о своих сомнениях относительно умопостижности законов бытия и походя упоминает, что расшифровал некромантские записи Венеция 174

Вечерня, где имеет место новая беседа с Аббатом, Вильгельм высказывает хитроумные догадки, как проникнуть в тайну лабиринта, и дело решается самым рациональным способом. Затем предлагается отведать сыра под одеялом 188

После повечерия, где Убертин рассказывает Адсону историю брата Дольчина, другие подобные истории Адсон припоминает и читает самостоятельно, а после этого встречается с девицей прекрасною и грозною, как выстроенное к битве войско 198

Ночь, где ошеломленный Адсон исповедуется Вильгельму и размышляет о месте женщины в мироздании, пока не натывается на труп мужчины 226

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Хвалитны, где Вильгельм и Северин осматривают тело Беренгара, и язык оказывается черным, что необычно для утопленника; потом идет диспут об опаснейших ядах и рассказ о давней пропаже 233

Час первый, где Вильгельм вынуждает сперва Сальватора, а затем келаря припомнить прошлое, Северин находит украденные очки, Николай приносит еще одни и шестиглазый Вильгельм удаляется разбирать выписки Венанция 240

Час третий, где Адсон исходит любовными мучениями, потом появляется Вильгельм со своею запиской, которая и после расшифровки остается такой же зашифрованной 248

Час шестой, где Адсон отправляется за трюфелями, а возвращается с миноритами и те держат с Вильгельмом и Убертином совет, на котором много неутешительного говорится об Иоанне XXII 258

Час девятый, где появляются кардинал Поджеттский, Бернард Ги и другие авиньонцы, а потом всякий делает что хочет 270

Вечерня, где Алиnard сообщает, кажется, важнейшие сведения, а Вильгельм демонстрирует свой метод продвижения к проблематичной истине через последовательность заведомых ошибок 272

Повечерие, где Сальватор повествует о любовной ворожбе ... 276

после повечерия, где снова имеет место посещение Храмы и обнаруживается предел Африки, но войти туда не удастся, так как неизвестно, что такое первый и седьмой в четырех, а в конце концов Адсон переживает новый приступ – на сей раз высоконачный – своей любовной болезни 280

Ночь, где Сальватор жалчайшим образом попадаетея Бернаруду Ги, девушка, любимая Адсоном, захвачена как ведьма и все засыпают еще более несчастными и перепуганными, чем проснулись 296

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Час первый, где разворачивается братская дискуссия о бедности Христа 303

Час третий, где Северин сообщает Вильгельму о необычной книге, а Вильгельм сообщает делегатам необычные воззрения на проблему мирской власти 316

Час шестой, где находят убитого Северина, но не могут найти книгу, которую он нашел 327

Час девятый, где вершится правосудие и создается неприятное впечатление, что не правы все 338

Вечерня, где Убертину приходится бежать, Бенций начинает почитать законы, а Вильгельм делится некоторыми соображениями о разных видах сладострастия, встреченных в этот день 359

Повечерие, где звучит проповедь о явлении Антихриста и Адсон открывает для себя значение имен собственных 365

ДЕНЬ ШЕСТЫЙ

Полунощница, где князи восседают, а Малахия валится на землю 377

Хвалитны, где назначается новый келарь, но не новый библиотекарь 382

Час первый, где Николай повествует о самых разных вещах, показывая гостям крипту с сокровищами 384

ЧАС ТРЕТИЙ, где Адсон, слушая «Dies irae», видит сон или, скорее, видение 391

После третьего часа, где Вильгельм толкует Адсону его сон 402

ЧАС ШЕСТЫЙ, где расследуется история библиотеки и кое-что сообщается о таинственной книге 405

ЧАС ДЕВЯТЫЙ, где Аббат отказывается выслушать Вильгельма, а предпочитает говорить о языке драгоценностей и требует, чтобы расследование печальных происшествий в монастыре было прекращено 410

От вечерни до повечерия, где коротко рассказывается о долгих часах замешательства 419

После повечерия, где почти случайно Вильгельм разгадывает тайну, как войти в предел Африки 422

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Ночь, где, если перечислять все потрясающие разоблачения, которые тут прозвучат, подзаголовок выйдет длиннее самой главы, что противоречит правилам 427

Ночь, где случается мировой пожар и из-за преизбытка добродетелей побеждают силы ада 443

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ

Елена Костюкович. Почти четверть века спустя 462

Краткий глоссарий 469



Мельский Миссал

Нижняя Австрия. Конец XII – начало XIII века

РАЗУМЕЕТСЯ, РУКОПИСЬ



Шестнадцатого августа 1968 года я приобрел книгу под названием «Записки отца Адсона из Мелька, переведенные на французский язык по изданию отца Ж. Мабийона» (Париж, типография Ласурсского аббатства, 1842)¹. Автором перевода значился некий аббат Балле. В довольно бедном историческом комментарии сообщалось, что переводчик дословно следовал изданию рукописи XIV века, разысканной в библиотеке Мелькского монастыря знаменитым ученым семнадцатого столетия, столь много сделавшим для историографии ордена бенедиктинцев. Так найденный в Праге (выходит, уже в третий раз) раритет спас меня от тоски в чужой стране, где я дожидался той, кто была мне дорога. Через несколько дней бедный город был занят советскими войсками. Мне удалось в Линце пересечь австрийскую границу; оттуда я легко добрался до Вены, где наконец встретился с той женщиной, и вместе мы отправились в путешествие вверх по течению Дуная.

В состоянии нервного возбуждения я упивался ужасающей повестью Адсона и был до того захвачен, что сам не заметил, как начал переводить, заполняя замечательные большие тетради фирмы «Жозеф Жибер», в которых так приятно писать, если, конечно, перо достаточно мягкое. Тем временем мы оказались в окрестностях Мелька, где до сих пор на утесе над излучиной реки высится многократно перестраивавшийся Stift². Как читатель, вероятно, уже понял, никаких следов рукописи отца Адсона в монастырской библиотеке не обнаружилось.

Незадолго до Зальцбурга одной проклятой ночью в маленьком отеле на берегах Мондзее разрушился наш союз, прервалось путешествие, и моя спутница исчезла; с нею улетучилась и книга Балле, в чем, безусловно, не было злого умысла, а было лишь проявление сумасшедшей непредсказуемости нашего разрыва. Все, с чем я остался тогда, – стопка исписанных тетрадей и абсолютная пустота в душе. Через несколько месяцев, в Париже, я вернулся к этой работе. В моих выписках из французского оригинала, среди прочего, сохранилась и ссылка на первоисточник, удивительно точная и подробная:

Vetera analecta, sive collectio veterum aliquot operum & opusculorum omnis generis, carminum, epistolarum, diplomaton, epitaphiorum, &, cum itinere germanico, adnotationibus aliquot disquisitionibus R. P. D. Joannis Mabillon, Presbyteri ac Monachi Ord. Sancti Benedicti e Congregatione

1/ Le manuscrit de Dom Adson de Melk, traduit en français d'après l'édition de Dom J. Mabillon. Paris, Aux Presses de l'Abbaye de la Source, 1842. (Прим. автора.)

2/ Монастырь (нем.). (Здесь и далее, кроме особо отмеченных случаев, – прим. перев.)

1/ Древняя антология, или Собрание древних трудов и сочинений любого рода, как то: писем, записок, эпитафий, с немецкоязычным комментарием, примечаниями и исследованием преподобного отца, доктора теологии Жана Мабийона, пресвитера монашеского ордена Св. Бенедикта и конгрегации Св. Мавра. Новое издание, включающее жизнь Мабийона и его сочинения, а именно записку «О Хлебе причастия, пресном и квасном» к Его высокопреподобию кардиналу Бона. С приложением сочинений Ильдефонса, епископа Испании, на тот же предмет, и Евсебия Романского к Теофилу Галлу послания «О почитании неведомых святых»; Париж, типография Левек, у моста Сен-Мишель, 1721, с разрешения короля (лат.).
2/ Монтален, набережная Сент-Огюстен (у моста Сен-Мишель) (лат.).

S. Mauri. – *Nova Editio cui accessere Mabilonii vita & aliquot opuscula, scilicet Dissertatio de Pane Eucharistico, Azymo et Fermentato*, ad Eminentiss. Cardinalem Bona. Subjungitur opusculum *Eldefonsi* Hispaniensis Episcopi de eodem argumento *Et Eusebii* Romani ad *Theophilum* Gallum epistola, *De cultu sanctorum ignotorum*; Parisiis, apud Levesque, ad Pontem S. Michaelis, MDCCXXI, cum privilegio Regis¹.

Vetera Analecta я тут же заказал в библиотеке Сент-Женевьев, но, к моему величайшему удивлению, на титульном листе открылось по меньшей мере два расхождения с описанием Балле. Во-первых, иначе выглядело имя издателя: здесь – Montalant, ad Ripam P. P. Augustianorum (prope Pontem S. Michaelis)². Во-вторых, дата издания здесь была представлена на два года более поздняя. Излишне говорить, что в сборнике не оказалось ни записок Адсона Мелькского, ни каких-либо публикаций, где бы фигурировало имя Адсон. И вообще это издание, как нетрудно увидеть, состоит из материалов среднего или совсем небольшого объема, в то время как текст Балле занимает несколько сотен страниц. Я обращался к самым знаменитым медиевистам, в частности к Этьену Жильсону, чудесному, незабываемому ученому. Но все они утверждали, что единственное существующее издание Vetera Analecta – это то, которым я пользовался в Сент-Женевьев. Посетив Ласурсское аббатство, располагающееся в районе Пасси, и побеседовав со своим другом отцом Арне Лаанештетом, я стопроцентно уверился, что никакой аббат Балле никогда не публиковал книг в типографии Ласурсского аббатства; похоже, что и типографии при Ласурсском аббатстве никогда не было. Неаккуратность французских ученых в отношении библиографических сносок общеизвестна. Но этот случай превосходил самые дурные ожидания. Становилось ясно, что в руках у меня побывала чистая фальшивка. Вдобавок и книга Балле теперь оказывалась вне досягаемости (по крайней мере, я не видел способа получить ее обратно). Я располагал только собственными записями, внушавшими довольно мало доверия.

Бывают моменты крайне сильной физической утомленности, сочетающейся с двигательным перевозбуждением, когда нам являются призраки людей из прошлого («en me retraçant ces details, j'en suis à me demander s'ils sont réels, ou bien si je les ai rêvés»). Позднее я узнал из превосходной работы аббата Бюкуа, что именно так являются призраки ненаписанных книг.

Если бы не новая случайность, я, несомненно, так и не сошел бы с мертвой точки. Но, слава богу, как-то в 1970 году в Буэнос-Айресе, роясь на прилавке мелкого букиниста на улице Коррьентес, недалеко от самого знаменитого из всех Патио дель Танго, расположенных на

этой необыкновенной улице, я наткнулся на испанский перевод брошюры Мило Темешвара «Об использовании зеркал в шахматах», на которую уже имел случай ссылаться (правда, из вторых рук) в моей книге «Апокалиптики и интегрированные», разбирая более позднюю книгу того же автора – «Продавцы Апокалипсиса». В данном случае это был перевод с утерянного оригинала, написанного по-грузински (первое издание – Тбилиси, 1934). И в этой брошюре я совершенно неожиданно обнаружил обширные выдержки из рукописи Адсона Мельского, хотя должен отметить, что в качестве источника Темешвар указывал не аббата Балле и не отца Мабийона, а преподобного Атанасия Кирхера (какую именно его книгу – не уточнялось). Один ученый (нет необходимости приводить здесь его имя) давал мне голову на отсечение, что ни в каком своем труде (а содержание всех трудов Кирхера он знал на память) великий иезуит ни единого разу не упоминает Адсона Мельского. Однако брошюру Темешвара я сам держал в руках и сам видел, что цитируемые там эпизоды текстуально совпадают с эпизодами повести, переведенной Балле (в частности, после сличения двух описаний лабиринта никаких сомнений остаться не может). Что бы ни писал впоследствии Беньямино Плачидо¹, аббат Балле существовал на свете – как соответственно и Адсон из Мелька.

Я задумался тогда, до чего же судьба записок Адсона созвучна характеру повествования; как много здесь непроясненных тайн, начинающая от авторства и кончая местом действия; ведь Адсон с удивительным упрямством не указывает, где именно находилось описанное им аббатство, а разнородные рассыпанные в тексте приметы позволяют предполагать любую точку обширной области от Помпозы до Конка; вероятнее всего, это одна из возвышенностей Апеннинского хребта на границах Пьемонта, Лигурии и Франции (то есть где-то между Леричи и Турбией). Год и месяц, когда имели место описанные события, названы очень точно – конец ноября 1327; а вот дата написания остается неопределенной. Исходя из того, что автор в 1327 году был послушником, а во время, когда пишется книга, он уже близок к окончанию жизни, можно предположить, что работа над рукописью велась в последнее десяти- или двадцатилетие XIV века.

Не так уж много, надо признать, имелось аргументов в пользу опубликования этого моего итальянского перевода с довольно сомнительного французского текста, который в свою очередь должен был являться собой переложение с латинского издания XVII века, якобы воспроизводившего рукопись, созданную немецким монахом в конце XIV.

Как следовало решить вопрос стиля? Первоначальному соблазну стилизовать перевод под итальянский язык эпохи я не поддавался:

1/ La Repubblica,
22 сент. 1977 г.
(Прим. автора.)

1/ Liber
aggregationis seu
liber secretorum
Alberti Magni,
Londinium,
juxta pontem qui
vulgariter dicitur
Flete brigge,
MCCCCLXXXV.
(Прим. автора.)
2/ Les admirables
secrets d'Albert
le Grand, A Lyon,
Chez les Héritiers
Beringos, Frates,
à l'Enseigne
d'Agrippa,
MDCLXXV;
Secrets merveilleux
de la Magie
Naturelle et
Cabalistique
du Petit Albert,
A Lyon, ibidem.
MDCCXXIX.
(Прим. автора.)

во-первых, Адсон писал не по-староитальянски, а по-латыни; во-вторых, чувствуется, что вся усвоенная им культура (то есть культура его аббатства) еще более архаична. Это складывавшаяся многими столетиями сумма знаний и стилистических навыков, воспринятых позднесредневековой латинской традицией. Адсон мыслит и выражается как монах, то есть в отрыве от развивающейся народной словесности, копируя стиль книг, собранных в описанной им библиотеке, опираясь на святоотеческие и схоластические образцы. Поэтому его повесть (не считая, разумеется, исторических реалий XIV века, которые, кстати говоря, Адсон приводит неуверенно и всегда понаслышке) по своему языку и набору цитат могла бы принадлежать и XII, и XIII веку.

Кроме того, нет сомнений, что, создавая свой французский в неоготическом вкусе перевод, Балле довольно свободно обошелся с оригиналом – и не только в смысле стиля. К примеру, герои беседуют о траволечении, ссылаясь, по-видимому, на так называемую «Книгу тайн Альберта Великого», текст которой, как известно, на протяжении веков сильно трансформировался. Адсон мог цитировать только списки, существовавшие в четырнадцатом столетии, а между тем некоторые выражения подозрительно совпадают с формулировками Парацельса или, скажем, с текстом того же Альбертова травника, но в значительно более позднем варианте – в издании эпохи Тюдоров¹. С другой стороны, мне удалось выяснить, что в те годы, когда аббат Балле переписывал (да переписывал ли?) воспоминания Адсона, в Париже имели хождение изданные в XVIII в. «Большой» и «Малый» Альберы², уже с совершенно искаженным текстом. Однако не исключается ведь возможность наличия в списках, доступных Адсону и другим монахам, вариантов, не вошедших в окончательный корпус памятника, затерявшихся среди глосс, схолий и прочих приложений, но использованных последующими поколениями ученых.

Наконец, еще одна проблема: оставлять ли латинскими те фрагменты, которые аббат Балле не переводил на свой французский – возможно, рассчитывая сохранить аромат эпохи? Мне не было резона следовать за ним: только ради академической добросовестности, в данном случае, надо думать, неуместной. От явных банальностей я избавился, но кое-какие латинизмы все же оставил и сейчас боюсь, что вышло как в самых дешевых романах, где если герой француз, он обязан говорить «parbleu!» и «la femme, ah! la femme!».

В итоге, налицо полная непроясненность. Неизвестно даже, чем мотивирован мой собственный смелый шаг – призыв к читателю поверить в реальность записок Адсона Мелькского. Скорее всего,

странности любви. А может быть, попытка избавиться от ряда навязчивых идей.

Переписывая повесть, я не имею в виду никаких современных аллюзий. В те годы, когда судьба подбросила мне книгу аббата Балле, бытовало убеждение, что писать можно только с прицелом на современность и с умыслом изменить мир. Прошло больше десяти лет, и все успокоились, признав за писателем кровное право писать из чистой любви к процессу. Это и позволяет мне рассказать совершенно свободно, просто ради удовольствия рассказывать, историю Адсона Мелькского, и ужасно приятно и утешительно думать, до чего она далека от сегодняшнего мира, откуда бдение разума, слава богу, выдворило всех чудовищ, которых некогда породил его сон. И до чего блистательно отсутствуют здесь любые отсылки к современности, любые наши сегодняшние тревоги и чаяния.

Это повесть о книгах, а не о несчастной повседневности; прочитав ее, следует, наверное, повторить вслед за великим подражателем Кемпийцем: «Повсюду искал я покоя и в одном лишь месте обрел его – в углу, с книгой».

5 января 1980 г.

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА



Рукопись Адсона разбита на семь глав, по числу дней, а каждый день – на эпизоды, приуроченные к богослужениям. Подзаголовки от третьего лица с пересказом содержания глав, скорее всего, добавлены г-ном Балле. Однако для читателя они удобны, и поскольку подобное оформление текста не расходится с италоязычной книжной традицией той эпохи, я счел возможным подзаголовки сохранить.

Принятая у Адсона разбивка дня по литургическим часам составила довольно существенное затруднение, – во-первых, оттого, что она, как известно, варьируется в зависимости и от сезона, и от местоположения монастырей, а во-вторых, оттого, что не установлено, соблюдались ли в XIV веке предписания правила Св. Бенедикта точно так, как сейчас.

Тем не менее, стремясь помочь читателю, я отчасти вывел из текста, отчасти выявил путем сличения правила Св. Бенедикта с расписанием служб, взятым из книги Эдуарда Шнайдера «Часы бенедиктинцев»¹, следующую таблицу соотношения канонических и астрономических часов:

1/ Schneider
Edouard. Les heures
Bénédictines. Paris,
Grasset, 1925.
(Прим. автора.)

Полунощница (Адсон употребляет и более архаичный термин Бдение) – от 2.30 до 3 часов ночи.	работах, зимой, это также час обеда).
Хвалитны (старинное название – Утренняя) – от 5 до 6 утра; должны кончаться, когда брезжит рассвет.	Час девятый от 2 до 3 часов дня.
Час первый около 7.30, незадолго до утренней зари.	Вечерняя около 4.30, перед закатом (по правилу, ужинать следует до наступления темноты).
Час третий около 9 утра.	Повечерие около 6. Примерно в 7 монахи ложатся.
Час шестой полдень (в монастырях, где монахи не заняты на полевых	При расчете учитывалось, что в Северной Италии в конце ноября солнце восходит около 7.30 и заходит примерно в 4.40 дня.

УМБЕРТО
ЭКО

Имя розы



debetur. Quorum in uis scriptorum scriptis
dispositio uel librorum ordinatio. id
a nobis per singula non exponitur. ut scilicet
de deo deo collocato. et quoniam in
tuis laboris. et deo magistri doctrina
fuerit. **Incipit euangelium iobis.**



Hic principio erat uerbum. Et uerbum erat apud deum. Et uerbum erat uerbum. Hoc erat in principio apud deum. Quia per ipsum facta sunt. et sine ipso factum est nichil. Et factum est in ipso uita erat. Et uita erat lux hominum. Et lux in tenebris. Lux et tenebre eam non preceperunt. Fuit homo missus a deo. et nomen eius iobis. Venient in testimonium ut testimonium perhiberet de lumine. ut oserent per illum. Non erat illi lux. sed testimonium perhiberet de lumine. Erat lux illa. quae illuminat oculos hominum uenientem in hunc mundum. In mundo erat. et mundus per ipsum factus est. et mundus eum non cognouit. In per uenit. et sine eum non receperunt. Quotquot autem receperunt eum dedit eis potestatem filios dei fieri. Quia in nomine eius. Qui non ex sanguine. sed ex uoluntate carnis. et ex uoluntate uirginitatis sunt. Et uerbum caro factum est. et habitauit in nobis. Et uirum in gloria eius. gloriam quam in gloria patris. Plenum gratiae ueritatis. Iobis testimonium perhibet de ipso. et clamat dicens:

ПРОЛОГ



начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот что было в начале у Бога, дело же доброго инока деннонощно твердить во смирении псалмопевческом о том таинственном непрерываемом явлении, чрез кое неизвратимая истина глаголет. Однако днесь ея зрим токмо per speculum et in aenigmate¹, и оная истина, прежде чем явить лице пред лице наше, проявляется в слабых чертах (увы! сколь неразличимых!) среди общего мирского блуда, и мы утруждаемся, распознавая ея вернейшие знаменования также и там, где они всего темнее и якобы пронизаны чуждою волею, всецело устремленную ко злу.

Близясь к закату греховного существования, в седирах одряхлевая, подобно этой земле, в ожидании, когда ввергнусь в бездну божественности, где одно молчание и пустыня и где сольешься с невозвратными лучами ангельского согласия, а дотоле обременя тяжкой недужною плотию келью в любимой Мелькской обители, приуготовляюсь доверить пергаменам память о дивных и ужасающих делах, каковым выпало мне сопричаститься в зеленые лета. Повествую verbatim² лишь о доподлинно виденном и слышанном, без упования пронизать сокрытый смысл событий и дабы лишь сохранились для грядущих в мир (Божиею милостью, да

не предупреждены будут Антихристом) те знаки знаков, над коими пусть творят молитву истолкования.

Сподобил меня Владыка Небесный стать пристальным свидетелем дел, творившихся в аббатстве, коего имя ныне умолчим ради благости и милосердия, при скончании года Господня 1327, когда вошел император Людовик в Италию готовился, согласно промыслу Всевышню, посрамлять подлого узурпатора, христопродавца и ересиарха, каковой в Авиньоне срамом покрыв святое имя апостола (сие о грешном душой Иакове Кагорском, ему же нечестивцы поклонялись как Иоанну XXII).

Дабы лучше уяснили, в каких делах я побывал, надо бы вспомнить, что творилось в начале века – и как я видел все это, живя тогда, и как вижу сейчас, умудрившись иными познаниями, – если, конечно, память справится с запутанными нитями множества клубков.

В первые же годы века папа Климент V переместил апостольский престол в Авиньон, кинув Рим на грабеж местным государям; постепенно святейший в христианстве город стал как цирк или лупанарий; победители его разрывали; республикой именовался, но ею не был, преданный на поруганье, разбой и мародерство. Церковнослужители, неподсудные гражданской власти, командовали шайками бандитов, с мечом в руках бесчинствовали и нечестиво наживались. И что делать? Столица мира, естественно, стала желанной добычей для тех, кто готовился венчаться короною

1/ В зеркале и в загадке; в отражении и иносказании (лат.).

2/ Дословно (лат.).

1/ Временно (лат.).

Священной империи Римской и возродить высшую мирскую державу, как было при цезарях.

На то и избрали в 1314 году пять немецких государей во Франкфурте Людовика Баварского верховным повелителем империи. Однако в тот же день на противоположном берегу Майна палатинский граф Рейнский и архиепископ города Кельна на то же правление избрали Фридриха Австрийского. На одну корону два императора и один папа на два престола – вот он, очаг злейшего в мире несогласия.

Через два года в Авиньоне был избран новый папа Иаков Кагорский, старик семидесяти двух годов, и нарекся Иоанном XXII, да не допустит небо, чтобы еще хоть один понтифик взял это мерзкое благим людям имя. Француз и подданный французского короля (а люди той зловерной земли всегда выгадывают для своих и не способны понять, что мир наше общее духовное отечество), он поддержал Филиппа Красивого против рыцарей-храмовников, обвиненных королем (полагаю, облыжно) в постыднейших грехах; все ради их сокровищ, кои папа-вероотступник с королем присвоили. Вмешался и Роберт Неаполитанский. Чтобы сохранить свое правление на итальянском полуострове, он уговорил папу не признавать ни одного из двоих немцев императором и сам остался главным военачальником церковного государства.

В 1322 году Людовик Баварский разбил своего соперника Фридриха. Испугавшись единственного отныне императора еще сильнее, чем боялся двух, Иоанн отлучил победителя, а оный в отместку объявил папу еретиком. Надо знать, что именно в тот год в Перудже собрался капитул братьев францисканцев, и их генерал Михаил Цезенский, склонив слух к требованиям «мужей духа» – «спиритуалов» (о последних еще расскажу), провозгласил как истину веры положение о бедности Христа, который со своими апостолами если и владел чем-либо, то только *usus facti*¹. Достоинейшее утверждение, призванное оберечь

добродетель и чистоту братства. Папа же был недоволен, вероятно почуяв угрозу своим притязаниям, ибо готовился как единоличный глава церкви воспретить империи избирать епископов, при этом сохранив за собою прерогативу коронования императоров. Так или иначе, в 1323 году он восстал против доктрины францисканцев в своей декреталии «Cum inter nonnullos».

Людовик, видимо, тогда же разглядел во францисканцах, отныне враждебных папе, мощных сотоварищей. Провозглашая бедность Христа, они усиливали позиции имперских богословов – Марсилия Падуанского и Иоанна Яндунского. И за несколько месяцев до событий, кои будут описаны, Людовик, заключив с разбитым Фридрихом союз, вступил в Италию, принял корону в Милане, подавил недовольство Висконти, обложил войском Пизу, назначил имперским наместником Каструччо, герцога Луккского и Пистойского (и напрасно, думаю, ибо не встречал более жестокого человека – кроме Угуччона из Фаджолы), и быстро пошел на Рим, куда призывал мессир Шарра Колонна, господин той области.

Такова была пора, когда я, приняв послушание в бенедиктинской обители в Мельке, был взят из монастырской тишины волею отца, бывшего у Людовика в свите и не последнего меж его баронами, каковой рассудил везти меня с собою, дабы узнал чудеса Италии и в будущем наблюдал бы коронацию императора в Риме. Но как сели под Пизой, привело его отдалиться воинской заботе. Я же, оным побуждаясь, и от досуга и ради пользы новых зрелищ осматривал тосканские города. Однако, по мнению батюшки и матушки, житье без занятий и уроков не годствовал юноше, обещанному к созерцательному служению. Тогда-то по совету полюбившего меня Марсилия и был я приставлен к ученому францисканцу Вильгельму Баскервильскому, отправлявшемуся в посольство по славнейшим городам и крупнейшим в Италии аббатствам. Я сделался при нем писцом и учеником и никогда

не пожалел

не пожалел, ибо лицеизрел дела, достойные увековечения – ради чего и тружусь ныне – в памяти тех, кто придет за нами.

Я тогда не знал, чего ищет брат Вильгельм, по правде говоря – не знаю и сейчас. Допускаю, что и сам он не знал, а движим был единственной страстью – к истине, и страдал от единственного опасения – неотступного, как я видел, – что истина не то, чем кажется в настоящий миг. Впрочем, к главнейшим своим занятиям, развлеченный тяжкими заботами эпохи, он тогда не прикасался. Поручение его мне было неизвестно до конца путешествия, то есть Вильгельм о нем не говорил. Только слыша урывками его беседы с аббатами монастырей, я догадывался о роде его задач. Но подлинные цели мне открылись в конце путешествия, о чем скажу позже. Двигались мы на север, однако не прямым путем, а от монастыря к монастырю. Поэтому мы отклонились к западу (хотя цель лежала на востоке), а затем пошли вдоль гребня гор, тянувшихся от Пизы до перевала Св. Иакова, покуда достигли земли, коей имя ныне, в преддверии рассказа о бывших там ужасах, воздержусь называть, но скажу все же, что тамошние правители были верны империи, и местные аббаты нашего ордена, объединившись, противились еретiku и святокупцу папе. Всего пути вышло две недели, и с такими событиями, в которых я смог лучше узнать (хотя все же недостаточно) нового учителя.

Впредь не займу сии листы описанием внешности людей – кроме случаев, когда лицо либо движение предстанут знаками немого, но красноречивого языка. Ибо, по Бозцию, всего мимолетней наружность. Она вянет и пропадает, как луговой цвет перед осенью, и стоит ли вспоминать, что его высокопреподобие аббат Аббон взором был суров и бледен ликом, когда и он и все с ним жившие ныне прах, и праха цвета, смертного цвета их тела? (Только дух, волею Господней, сияет в вечно негасимом свете.) Вильгельма все же я опишу раз и навсегда, так как обыкновенные черты его

облика мне казались дивно важными. Так всегда юноше, привязавшемуся к старшему и более умудренному мужчине, свойственно восхищаться не только умными его речами и остротой мысли, но и обликом, дорогим для нас, как облик отца. От него мы перенимаем и повадку и походку, ловим его улыбку. Но никакое сладострастие не пятнает сию, возможно единственную чистую, разновидность плотской любви.

В мое время люди были красивы и росли, а ныне они карлики, дети, и это одна из примет, что несчастный мир дряхлеет. Молодежь не смотрит на старших, наука в упадке, землю перевернули с ног на голову, слепцы ведут слепцов, толкая их в пропасть, птицы падают не взлетев, осел играет на лире, буйволы пляшут. Мария не хочет созерцательной жизни, Марфа не хочет жизни деятельной, Лия неплодна, Рахиль похотлива, Катон ходит в лупанарии, Лукреций обабился. Все сбились с пути истинного. И да вознесутся бесчисленные Господу хвалы за то, что я успел воспринять от учителя жажду знаний и понятие о прямом пути, которое всегда спасает, даже тогда, когда путь впереди извилист.

Видом брат Вильгельм мог запомниться самому рассеянному человеку. Ростом выше обыкновенного, он казался еще выше из-за худобы. Взгляд острый, пронизательный. Тонкий, чуть крючковатый нос сообщал лицу настороженность, пропадавшую в минуты отупения, о коих скажу позже. Подбородок также выказывал сильную волю, хотя длиннота лица, усыпанного веснушками – их много у тех, кто рожден меж Гибернией¹ и Нортумбрией², – могла означать и неуверенность в себе, застенчивость. Со временем я убедился: то, что казалось в нем нерешительностью, было любопытством и только любопытством. Однако сперва я не умел ценить этот дар, считая его проявлением душевной развращенности. Тогда как в разумную душу, полагал я, любопытству нет доступа, и она питается лишь истиной, которая, как я был убежден, узнается с первого взгляда.

1/ Ирландия.
2/ Нортумберленд
(самое северное графство Англии).

1/ Обращения к детям, подросткам и женщинам (греч.).
2/ Распутник (греч.).

Меня, мальчишку, сразу поразили кло-
чья желтоватых волос, торчавшие у него
в ушах, и густые светлые брови. Он прожил
весен пятьдесят и, значит, был очень стар.
Однако телом не ведал устали, двигаясь
с проворством, не всегда доступным и мне.
В периоды оживления его бодрость по-
ражала. Но временами в нем будто что-то
ломалось, и вялый, в полной прострации,
он лежнем лежал в келье, ничего не от-
вечая или отвечая односложно, не двигая
ни единой мышцею лица. Взгляд делался
бессмысленным, пустым, и можно было
заподозрить, что он во власти дурманяще-
го зелья, – когда бы сугубая воздержность
всей его жизни не ограждала от подобных
подозрений. Все же не скрою, что в пути он
искал на кромках лугов, на окраинах рощ
какую-то траву (по-моему, всегда одну и ту
же), рвал и сосредоточенно жевал. Брал
и с собою, чтоб жевать в минуты выше-
го напряжения сил (немало их ждало нас
в монастыре!). Я спросил его, что за трава,
он засмеялся и ответил, что добрый хри-
стианин, бывает, учится и у неверных. Я хо-
тел попробовать, но он не дал со словами,
что как в речах к простецам различаются
paidikoi, erhebikoi и gynaikoi¹, так и с тра-
вами: что здорово старику францисканцу,
негоже юному бенедиктинцу.

Пока мы были вместе, суточный распо-
рядок исполнять не удавалось. Даже в мо-
настыре мы бдели ночью, а днем валились
от усталости и к отправлениям службы Бо-
жией являлись нерегулярно. В дороге он
все же после повечерия бодрствовал ред-
ко. В привычках был умерен. В монастыре
днями пропадал на огороде, рассматривал
травы, как рассматривают хризопразы
и изумруды. А в крипте, в сокровищнице
походя глянул на ларец, усыпанный изу-
мрудами и хризопразами, как будто на ди-
кую шалей-траву в поле. Целыми днями он
листал рукописи в большом зале библиоте-
ки – можно подумать, только для удоволь-
ствия (а кругом в это время множились
трупы зверски убитых монахов). Я застал
его гуляющим в саду без всякой видимой

цели, как если б он не был обязан отдавать
отчет Господу во всех действиях. В братстве
учили иначе расходовать время, о чем я ему
и сказал. Он же ответил, что краса космоса
является не только в единстве разнообра-
зия, но и в разнообразии единства. Сей от-
вет я принял за невежливый и полный эм-
пиризма. Лишь позже я осознал, что люди
его земли любят описывать важнейшие
вещи так, будто им неведома просвещаю-
щая сила упорядоченного рассуждения.

Пока мы жили в аббатстве, руки его были
вечно перепачканы книжной пылью, позо-
лотой невысохших миниатюр, желтоваты-
ми зельями из лечебницы Северина. Он как
будто мыслил руками, что, на мой взгляд,
пристало скорее механику (меня же учили,
что всякий механик – тоескус², прелюбодей,
изменяющий умственной жизни, с коей чи-
стейшим сочетался браком). Но руки его,
когда он трогал что-то непрочное – све-
жайшие, еще сырые миниатюры или по-
траченные временем листы, ломкие, как
опресноки, – двигались с необыкновенной
ловкостью, и так же он трогал свои орудия.
Ибо в дорожном мешке он хранил особые
предметы, кои звал «чудными орудиями».
Орудия, говорил он, рождаются от искусства,
которое обезьяна натуры и в новых формах
воссоздает различные действия природы.
Так он объяснил мне чудотворные свой-
ства часов, астробии и магнита. Однако
сперва я боялся, что это нечисто, и при-
кидывался спящим в ясные ночи, когда
он с помощью таинственного треугольни-
ка следил за звездами. Прежде я встречал
францисканцев в Италии и в моей земле,
и это были простые, часто неграмотные
люди. Я сказал Вильгельму, что восхищен
его образованностью. Он со смехом отве-
тил: «У нас на островах францисканцы из
особого теста. Рогир Бэкон, наш чтимый
наставник, учил, что в некий день промы-
сел Господен обратится к механизмам, они
же суть орудия природной священной ма-
гии. Тогда из природных средств создадут-
ся орудия судоходства такие, коих силою
корабль пойдет под водительством одного

лишь

лишь человека, притом пуще, нежели ходят под парусом или на веслах. Явятся и повозки “без тварей борзо влекомы нутряным напором такожде махины на воздушех плывущи ими же муж воссед правит дабы крыла рукотворны били бы воздух по образу летучих птах”. И малейшие орудия, способные подъять несметный груз, и колесницы, странствующие по дну морскому».

Я спросил, где же эти орудия, на что он ответил: «В древности они были сделаны, а иные и в наше время, за вычетом воздухоплавательной махины, каковую ни я не видал, ни кто-либо из людей, мне встречавшихся. Но знаю ученого мужа, об оной махине помышляющего. Можно выстроить и мост через всю реку без свай и иных опор, и прочие неслыханные сооружения. Ты не тревожься, что доселе их нет. Это не значит, что их и не будет. Я скажу тебе: Господу угодно, чтобы были они, и истинно уже существуют они в Его помысле, хотя мой друг Оккам и отрицает вероятность подобного существования идей. Но отрицает не оттого, что отгадывать помыслы Божии предосудительно, а, напротив, оттого, что число отгадок неограниченно». Это было не первое противоречивое

высказывание Вильгельма. Даже и ныне я, постарев и умудрившись, все-таки не могу понять, почему он, столь ценя суждения своего друга Оккама, одновременно преклонялся и перед доктринами Бэкона. Хотя следует признать, что в ту беспокойную пору умному человеку приходилось думать, бывало, взаимоисключающие вещи.

Вот, рассказал я о брате Вильгельме – видимо, бестолково. Хотелось в начале повести собрать обрывки разрозненных наблюдений, сделанных по дороге в аббатство. Кто был Вильгельм и чем интересовался, ты, о добрый читатель, лучше выведешь сам из его поступков в те дни в монастыре. Не сулил и не сулю тебе исчерпывающей картины. Могу дать лишь перечень фактов, но предивных и пристрастных, это несомненно.

Таким-то образом, день ото дня узнавая учителя и провождая бесконечные переходы в длительнейших с ним беседах (их вспомню при случае), я вдруг обнаружил, что путь наш скончался и впереди высится гора, а на ней то самое аббатство. Ступай же вперед и ты, моя повесть, и да не дрогнет перо, прикасаясь к рассказу обо всем, что случилось затем.



EVS · QVI · OTRO · ORDINE ·
 angelorum ministeria hominum
 q; dispensas. concede ꝑpituis. ut aqvi
 bus tibi ministrantibus in celo semper
 assistit. abhi itra ut nostra muniat. ꝑ.
Hostias tibi laudis offerimus **SECRETA.**
 dñe. suppliciter deprecantes. ut easdem

день
ПЕРВЫЙ
☞

☞ ПЕРВОГО ДНЯ ☞
ЧАС ПЕРВЫЙ,

ГДЕ ОПИСАНО ПРИВЫТИЕ К ПОДНОЖИЮ АББАТСТВА, ПРИЧЕМ ВИЛЬГЕЛЬМ ПРОЯВЛЯЕТ ВЕЛИЧАЙШУЮ ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ



Было ясное утро конца ноября. Ночью мело, но не сильно, и слой снега был не толще трех пальцев. Затемно, отстояв хвалитны, мы слушали мессу в долинной деревушке. Потом двинулись в гору навстречу солнцу.

Мы подымались по крутой тропе, огибавшей гору. Вдруг аббатство встало перед нами. Меня поразила не толщина стен – такими стенами огораживались монастыри во всем христианском мире, – а громадность постройки, которая, как я узнал позже, и была Храминой. Восьмиугольное сооружение сбоку выглядело четырехугольником (совершеннейшая из фигур, отображающая стойкость и неприступность Града Божия). Южные грани возвышались над площадью аббатства, а северные росли из склона горы и отважно повисали над бездной. Снизу, с некоторых точек, казалось, будто не постройка, а сама каменная скала громоздится до неба и, не меняя ни материала, ни цвета,

переходит в сторожевую башню: произведение гигантов, родственных и земле и небу. Три пояса окон сообщали тройной ритм ее вертикали, так что, оставаясь на земле физическим квадратом, в небе здание образовывало спиритуальный треугольник. Подойдя ближе, я увидел, что на каждом углу квадратного основания стоит башня-семигранник, из семи сторон которой пять обращены вовне, так что четыре стороны большого восьмигранника превращены в четыре малых семигранника, которые снаружи представляются пятигранниками. Не может быть человек равнодушен к такому множеству священных числ, полных, каждое, тончайшего духовного смысла. Восемь – число совершенства любого квадрата, четыре – число евангелий, пять – число отделов неба, семь – число даров Духа Святого. Величиной и планом Храмина походила на виденные мной позднее в южных краях Италии замок Урсино и замок Даль Монте, но была еще неприступнее, и робость охватывала всякого идущего к аббатству путника. Добро еще в то ясное утро у постройки был не такой мрачный вид, как в ненастную погоду.

← Миссал
Германия, Хильдесхайм. Около 1170-х

Однако не скажу, чтоб она выглядела приветливо. Мною овладел страх, и появилось неприятное предчувствие. Бог свидетель, что не от бредней незрелого разума, а оттого что слишком заметны были дурные знаки, оставленные на тех камнях еще в давние времена, когда они были во власти гигантов. Задолго, задолго до того, как упрямые монахи взялись превратить проклятые камни в священное хранилище слова Божия.

Наши мулы вскарабкались на последний уступ взъезда. Отсюда расходились три тропы. Вдруг учитель остановился и осмотрелся, кинув взгляд и на кромку дороги, и на дорогу, и поверх дороги, где несколько вечнозеленых пиний, сойдясь, касались кронами, образуя что-то вроде седого от снега навеса.

«Богатое аббатство, – сказал он. – Аббату нравится хорошо выглядеть на людях».

Я так привык к неожиданности его суждений, что не удивился и ничего не спросил. И некогда было спрашивать: за поворотом слышались крики, и навстречу высыпала возбужденная толпа монахов и челяди. Один, завидев нас, отделился от остальных, свернул с пути и любезно приветствовал.

«Пожалуйте, отец мой, – сказал он, – и не удивляйтесь, что я знаю, кто вы, ибо о вашем приезде известили. Я Ремигий Варегинский, келарь этого монастыря. Если вы тот самый, кем я вас счел, то есть брат Вильгельм из Баскавиллы, надо доложить настоятелю. Ты, – обратился он к кому-то из свиты, – ступай наверх и объяви, что ожидаемый гость вступает в стены обители!»

«Благодарю, отец келарь, – учтиво ответил учитель, – и тем более тронут, что вижу: ради меня вы прервали погоню. Но не огорчайтесь. Конь действительно поскакал в эту сторону и свернул на правую тропку. Далеко уйти он не должен: добежит до помойки и остановится. С откоса спускаться не будет – слишком умен».

«Вы когда его видели?» – спросил келарь.

«А мы его не видели, верно, Адсон? – Вильгельм повернулся ко мне с лукавой усмешкой. – Но это не важно, так как ваш Гнедок именно там, где я говорю».

Келарь помялся, взглядывая то на Вильгельма, то на тропу, и в конце концов не выдержал: «Откуда вы знаете, как его зовут?»

«Уж знаю, – ответил Вильгельм. – Вы ищете Гнедка, это любимец настоятеля, лучший скакун на конюшне, темной масти, ростом без восьми вершков в сажень, хвост пышный, копыто малое и круглое, однако на скаку ровен. Голова некрупна, уши острые, глаза очень велики. Подался он направо, как я уже сказал, и в любом случае советую поторопиться».

На мгновение келарь застыл в полной растерянности, затем махнул остальным и бросился вниз по правой тропинке, а наши мулы снова затрусили в гору. Я был вне себя от любопытства, но Вильгельм знаком велел обождать и не задавать вопросов. И впрямь через минуту слышались ликующие вопли и из-за поворота вывалились монахи и служки, удерживая в поводу жеребца. Они обогнали нас, очумело озираясь, и скрылись в воротах аббатства. Допускаю, грешным делом, что Вильгельм мешкал не случайно, а давая им время рассказать о происшествии. Я ведь видел уже и ранее, что учитель, во всем прочем образец высочайших добродетелей, попускает одному своему пороку – славолюбию, особенно когда показывает проницательность. Зная его тончайший дипломатический ум, я понял также, что он хочет явиться в монастырь уже овеванный славой мудреца.

«А теперь откройте, – не утерпел я, – как вы догадались?»

«Добрейший Адсон, – отвечал учитель. – Всю поездку я учу тебя различать следы, по которым читаем в мире, как в огромной книге. Сказал же Алан Лилльский:

всей вселенной нам творенье –
будто бы изображение,
книга или зеркало, –

и судил о неисчерпаемом обилии символов, коими Господь чрез посредство творений

своих глаголет к нам о вечной жизни. Однако вселенная еще красноречивей, чем казалось Алану, и говорит не только о далеких вещах (о них всего туманней), но и о самых близких, и о них – яснее ясного. Даже стыдно повторять все то, что ты сам обязан был увидеть. На развилке, на свежем снегу, были четкие следы копыт, уходившие от нас налево. Отпечатки правильные, равномерно расположенные, копыто маленькое, круглое. Поскок ровный. А это означает, что лошадь чистокровная и шла спокойно, а не летела сломя голову. Далее. Там, где сросшиеся пинии образуют что-то вроде навеса, было сломано несколько ветвей – именно на высоте пяти футов, как я и сказал келарю. Ты видел ежевичник у развилки? Там конь свернул направо, помахивая своим пышным хвостом, и оставил на шипах несколько длинных черных-пречерных волос... Наконец, не скажешь же ты, что не догадывался про эту помойку. Мы ведь вместе видели на нижнем уступе горы поток нечистот, лившихся из-под восточной башни и пятнавших снег. А от развилки правая тропа может вести только туда».

«Да, – кивнул я. – Но маленькая голова, острые уши, большие глаза...»

«Не знаю, что там на самом деле. Но, безусловно, монахи должны в это верить. Сказано же Исидором Севильским, что лучшего коня “стать такова: невелика глава и плотно шкурою до кости покрыта, кратки и остры уши, очи зело громадны, широки ноздри, шея пряма, грива и хвост густы, подбитые копыта кругловидны”. Если бы жеребец, чей путь я выследил, не был и вправду лучшим на конюшне, как объяснить, что его ищут не только конюхи, но и сам отец келарь? А монах, когда он считает, что конь великолепен и превосходит все природные совершенства, видит в нем только то, что предписано видеть. Особенно если этот монах, – тут он иронически улыбнулся, явно по моему адресу, – если это ученый бенедиктинец».

«Ладно, – сказал я. – Но почему Гнедок?»

«Да ниспошлет Святой Дух в твою башку хоть капельку мозгов, сын мой! – воскликнул

учитель. – Ну какое другое имя может носить эта лошадь, если даже сам великий Буридан, готовясь вступить в ректорскую должность в Париже и произнося речь об образцовом скакуне, не находит более оригинальной клички!»

Вот каков был учитель. Не только читал он великую книгу натуры, но умел угадать и то, что вычитывают другие в книгах культуры и что они мыслят. Сия способность, как увидим, немало раз ему пригодилась в последующие дни. Что же до Вильгельмова доказательства, то к концу оно показалось мне настолько простым, что вместо стыда за свою недогадливость я ощутил гордость, как некий соучастник расследования, и почти готов был восхищаться собственной смекалкой. Таковы свойства всего истинного, которое, как и все доброе, легко находит путь в душу. И да славится святейшее имя Господа нашего Иисуса Христа ради сего чудесного ниспосланного мне открытия.

Но вернись к брошенной нити, моя повесть, ты, которую этот дряхлый монах задерживает, копаясь в маргиналиях! Лучше расскажи, как подошли мы к главным воротам аббатства, и как Настоятель встречал нас на пороге с двумя послушниками, поднесшими полную воды золотую мису, и как мы спешили, а он вымыл в мисе руки Вильгельму, и обнял, и поцеловал в уста, даруя святым благословением; а келарь в это время принимал меня.

«Я благодарен вам, Аббон, – сказал Вильгельм, – великая радость войти в обитель, осененную вашей властью и прославленную по обе стороны гор. Паломником я прихожу, во имя нашего Господа, и как таковой сподобился от вас немалых почестей. Однако в то же время я являюсь и от имени земного повелителя, о чем свидетельствует вручаемая при сем грамота, и от его имени также хотел бы выразить вам благодарность за теплый прием».

Беря письмо с имперскими печатями, Аббат отвечал, что так или иначе о визите Вильгельма он был предупрежден членами

своего братства (и это доказывало, отметил я с тайной гордостью, что бенедиктинского аббата невозможно заставить врасплох). Затем Настоятель велел келарю показать нам отведенные помещения, конюхам – принять наших мулов, а сам удалился, обещав прийти позднее, когда мы отдохнем и восстановим силы, и нас повели на поместительное подворье, где монастырские постройки тянулись по бокам и по середине гладкого луга, устлавшего чашеобразную впадину (алыту), которой оканчивалась вершина горы.

Внутреннее расположение аббатства я еще буду иметь случай описать не однажды и во всех подробностях. Сразу из-под въезда (который, по всему судя, был единственной отдушиной в цельной стене) открывалась обсаженная деревьями дорога, приводившая к ступеням монастырской церкви. Слева от дороги шли овощные гряды, за ними, как мне объяснили потом, ботанический сад, укрывавший от глаз два строения – баню и больницу с травохранилищем, прижимавшиеся почти вплотную к выгибу стены. Еще дальше, по левую руку от церкви, возвышалась Храмина; между нею и церковью я заметил могильные кресты. Северный портал церкви смотрел прямо на южную башню Храмины, и очам новоприбывших путешественников первой появлялась ее западная башня, а рядом, чуть левее, стены Храмины вращались в монастырскую ограду и другие башни висли над пропастью. Самую далекую, северную, с трудом было видно. Направо от церкви шли другие строения, повернутые к ней спиной и образующие церковный двор: как заведено, почивальни, дом аббата и странноприимный дом, куда нас с Вильгельмом и доставили, проведя через роскошный фруктовый сад. Направо от дороги, на дальнем краю лужайки, обок южной стены и затем обок восточной, загибаясь за церковь, тянулись цепью службы и людские: конюшни,

мельницы, маслодавили, амбары и погреб, а также какое-то жилье, которое, по всей вероятности, должно было оказаться домом послушников. Ровность участка, всхолмленного совсем несильно, позволяла древним созидателям этого богоугодного места соблюсти любые правила взаимной расстановки построек лучше, чем могли бы требовать от кого бы то ни было Гонорий Августодунский или Вильгельм Дуранский. По наклонению солнечных лучей на этот час дня я рассчитал, что большие въездные ворота, по-видимому, выходят строго на запад, а хор и алтарь – неукоснительно на восток. Таким образом, по утрам лучи зари прежде всего обращаются на почивальни и на стойла, пробуждая ото сна людей и животных. Никогда не доводилось мне видеть аббатства краше и соразмернее этого, хотя впоследствии я побывал и в Сан-Галло, и в Клуни, и в Фонтене, и в других, может быть, даже и более обширных, зато хуже устроенных. Особенно же отличалось это аббатство от всех прочих благодаря нависавшей над остальными строениями, ни с чем не сопоставимой громаде Храмины. Никогда не обучался я искусству каменщика, однако сразу понял, что Храмина древнее всех окружающих ее построек и была воздвигнута, надо полагать, ради совершенно иных нужд, а аббатство основалось около нее гораздо позже, но с таким умыслом, чтобы башни Храмины были соотнесены с приделами церкви, вернее наоборот, ибо из всех искусств архитектура отважнее всех стремится воссоздать собою миропорядок, который древние люди именовали kosmos, то есть изукрашенный; он целокупен, как некое громадное животное, поражающее совершенством и согласием во всех членах. И пребуди благословен Создатель, определивший, по свидетельству Августина, для каждой вещи число, тяжесть и меру.

— quæ ē in bethleem iuxta portā delatā noluit bibere ꝑꝑꝑ
 — temeritatē portator dicens ꝑꝑꝑ sit in dñs ne bibam
 — sanguinē hominū s; libavit eā dño.

Lat. lxxv. **A**b isai fr̃ ioab qui eleuauit asta cont̃ trecentos uiros
 — q̃s interfecit. ⁊ ceteri uiri fortes in quib; un' leonū
 — absq; ferro occidit ⁊ egypciū fortem de asta sua
 — sibi puniit.

Lat. lxxvi. **I**n dignat' d's contra isrl̃ ita ut iubet dinumerari
 — isrl̃ ⁊ iuda ⁊ post denumerationē iubet dā eligere
 — sibi tres delationē plagarū. pestis. famis. ⁊ gladij.
 — tam euenit in ꝑꝑꝑ trib; dieb; s; angl's q̃ missus ē
 — ad ꝑꝑꝑciendū. iubet adñō q̃scere testimoniū n̄
 — offerendū holocausta gratuita n̄ de ꝑꝑꝑꝑ labore.

IN EPIT LIBER REGVM PRIORVS



EXPLICIT : CAPITULA :

🌹 ПЕРВОГО ДНЯ 🌹

Ч А С Т Р Е Т И Й,

ГДЕ ВИЛЬГЕЛЬМ С АББАТОМ ИМЕЮТ СОДЕРЖАТЕЛЬНЕЙШУЮ БЕСЕДУ



тец келарь был толстоват и простоват, но радушен; немолод, но крепок; невзрачен, но расторопен. Он довел нас до странноприимных палат и показал кельи, вернее

келью, приготовленную для учителя. Для меня, пообещал он, в течение суток выделяют особый покой, поскольку я хотя всего лишь послушник, но гость монастыря и буду размещен с положенными удобствами. А первую ночь мне предстояло провести в покое Вильгельма, в глубокой и просторной нише, где была постлана хорошая свежая солома. Это место, пояснил келарь, устраивается для челяди тех господ, которые привыкли спать, не расставаясь с охраной.

Монахи внесли вино, козий сыр, оливы, хлеб и превосходный изюм и оставили нас. Мы ели и пили с удовольствием. Учитель не соблюдал строгое правило бенедиктинцев и вкушать в молчании не любил. Однако для беседы избирал предметы настолько добрые и достойные, что это выходило как если бы монах читал нам жития святых.

За завтраком я не удержался и стал расспрашивать его о лошади.

«В любом случае, – начал я, – даже и прочитавши необходимые знаки на снегу и на ветвях, самого-то Гнедка вы все-таки не видели. А знаки эти так или иначе свидетельствуют о любой лошади или хотя бы о любой лошади определенной породы. Значит, книга природы изъясняется только общими понятиями, как и учат многие именитые богословы?»

«Не вполне, милейший Адсон, – отвечивал учитель. – Разумеется, подобные отпечатки передают, если угодно, впечатление о коне как *verbum mentis*¹, и то же самое впечатление передадут они неизменно, в каком бы месте ни были увидены. Однако увиденные именно в этом месте и именно в этот

час дня, они говорят мне, что по меньшей мере один из любых существующих коней определенной породы побывал тут, и так я оказываюсь на полупути между представлением об идее коня и знанием единичного коня. Как бы то ни было, в любом случае все, что мне известно о коне всеобщном, дается через следы, а след единичен. Тут я оказываюсь, можно сказать, в тисках между единичностью следа и собственным неведением, принимающим достаточно зыбкую форму всеобщной – универсальной – идеи. Если издалека смотришь на предмет и трудно разобраться, что это, довольствуешься определением “крупное тело”. Приблизившись, ты уже получаешь возможность сказать, что это вроде бы животное, хотя пока не ясно, осел это или лошадь. Наконец, когда оно уже рядом, ты скажешь, что это конь, хотя и не знаешь, зовут его Гнедком или Воронком. И только оказавшись к предмету совсем вплотную, ты убеждаешься, что это Гнедок (то есть именно тот самый, единственный конь, а не любой; называть его можно как угодно). Вот это и есть полнейшее, совершеннейшее знание: проникновение единичного. Вот так я час назад готов был строить предположения о любых конях – но не от широты своего разума, а от недостатка пронизательности. Утолился же голод моего разума только тогда, когда я увидел единичного коня у монахов в поводе. Только в эту минуту я действительно удостоверился, что осуществленное рассуждение привело меня прямо к истине. А те идеи, которые я употреблял, прежде чем воочию увидел не виденного до того коня, это были чистые знаки, такие же знаки, как отпечатки конских копыт на снегу; знаки и знаки знаков используются только тогда, когда недостаток вещей».

Не раз я слышал, как учитель скептически отзывается об универсальных идеях и гораздо более уважительно говорит об индивидуалиях; мне всегда казалось, что это из-за его британства и францисканства. Но в тот день

1/ Общее понятие (лат.).

у меня не было сил для богословских диспутов; еле добравшись до ниши, я завернулся в одеяло и провалился в глубочайший сон.

Всякому входящему должно было казаться, что это не человек, а какой-то тюк. Обманулся, видимо, и Аббат, когда пришел к Вильгельму около третьего часа. Так и вышло, что я незамеченный присутствовал при первой их беседе, разумеется, без тайного умысла, а лишь оттого, что внезапно открыться было бы менее пристойно, нежели затаиться со смирением, что я и сделал.

Итак, Аббон вошел. Извинившись за вторжение, он снова приветствовал Вильгельма и объявил, что хочет говорить с глазу на глаз о довольно неприятном деле.

Начал он с похвал догадливости Вильгельма, выказанной в истории с лошастью. Как же все-таки удалось описать никогда не виденное животное? Вильгельм кратко повторил разъяснение, и Аббат пришел в восторг. Меньшего, сказал он, нельзя ждать от человека, чья мудрость вошла в легенду. Теперь к делу. Он получил от настоятеля Фарфской обители письмо, где речь идет не только о тайной миссии, порученной Вильгельму императором (ее, разумеется, предстоит обсудить особо), но и о том, что в Англии и в Италии Вильгельм провел как инквизитор несколько процессов, прославившись проницательностью – но в то же время и великодушием.

«Особенно, – добавил Настоятель, – я рад был узнать, что во многих случаях вы выносили оправдательный приговор. Я верю, а в эти скорбные дни наипаче, что в жизни Зло присутствует неотступно, – тут он быстро оглянулся, словно искал врага прямо в нашей комнате, – но верю и что Зло любит действовать через посредников. Оно наущает своих жертв вредительствовать так, чтобы подозрение пало на праведных, и ликует, видя, как сжигают праведника вместо его суккуба. Часто инквизиторы, доказывая усердие, любой ценой вырывают у подсудимого признание, как будто хорошим следователем может считаться

тот, кто, чтоб удачно закрыть процесс, нашел козла отпущения...»

«Значит, и инквизитор бывает орудием дьявола», – сказал Вильгельм.

«Возможно, – уклончиво ответил Аббат, – ибо неисповедимы Господни пути. И все же не мне бросать тень подозрения на достойнейших особ. И менее всего на вас, как на одного из них, в чьей помощи я сейчас нуждаюсь. В моем аббатстве случилось нечто требующее вмешательства и совета такого человека, как вы: умного и скромного. Достаточно умного, чтоб многое открыть, и достаточно скромного, чтобы скрыть (по необходимости) то, что откроется. Ведь часто приходится устанавливать вину особ, обязанных славиться святостью. Тогда мы пресекаем зло тайно, не предавая дело огласке. Если пастырь оступился, пусть другие отойдут от него. Но горе, когда паства перестает доверять пастырям.»

«Ясно», – сказал Вильгельм. Я уже знал, что кратким и вежливым ответом он обычно прикрывает, приличия ради, свое несогласие или удивление.

«И посему, – продолжал Аббат, – я убежден, что разбирать вину пастыря может только человек вашего склада, умеющий отличать и доброе от злого, и – прежде всего – существенное от несущественного. Я рад был узнать, что вы осуждаете преступников лишь в тех случаях...»

«...когда доказана действительная вина: отравление, растление малолетних или иная мерзость, кою мой язык не решается поименовать...»

«...вы осуждаете преступников лишь в тех случаях, – продолжал Аббат, будто не слыша, – когда присутствие злого духа в обвиняемом очевидно для всех и потому оправдание может выглядеть еще возмутительнее, чем само преступление.»

«Я осуждаю преступников только в тех случаях, – сказал Вильгельм, – когда доказано, что они действительно совершили преступления настолько тяжкие, что я с чистой совестью могу отдать их гражданским властям.»

Поколебавшись, Настоятель спросил: «Почему, говоря о преступлениях, вы упорно умалчиваете об их причине – дьявольском наущении?»

«Потому что судить о причинах и следствиях достаточно трудно, и я думаю, что Господь единый вправе о них судить. Мы же пока не можем установить связь даже между столь очевидным следствием, как обгоревший ствол, и столь явной причиной, как ударившая в него молния. Поэтому плести длиннейшие цепочки неверных причин и следствий, по-моему, такое же безумие, как строить башню до самого неба...»

«Доктор Аквинский, – сказал тогда Аббат, – не робея, выводил бытие Всевышнего из оснований одного лишь разума, восходя от причин, через причины, к первопричине...»

«Кто я такой, – смиренно ответил Вильгельм, – чтобы противоречить доктору Аквинскому? Если к тому же доказываемое им бытие Божие подтверждается таким изобилием инородных свидетельств, что и его пути на том крепки? Господь речет к нам во глубине души нашей, о чем знал еще Августин. И вы, святой отец, возглашали бы хвалу Всевышнему и явственность его существования, даже если бы у Фомы не доказывалось... – Вильгельм запнулся и добавил: – Думаю, так?»

«О, несомненно», – поспешил заверить его Аббат, и таким образом учитель весьма успешно остановил схоластический диспут, судя по всему тяготивший его. Затем продолжил свое: «Вернемся к процессам. Вот дан, к примеру, человек, умерщвленный через отравление. Это дано в непосредственном опыте. Вполне оправдано, если я, по некоторым недвусмысленным показателям, предположу, что совершил отравление другой человек. Такие простые цепочки причин и следствий мой разум вполне может выстраивать, основываясь на своем праве. Но какое право я имею утяжелять цепочку, вводя предположение, что вредоносное действие совершено силой некоего постороннего вмешательства, на этот

раз не человеческого, а дьявольского? Я не хочу сказать, будто это невозможно. Порою и дьявол метит пройденный путь недвусмысленными знаками, как ваш сбежавший Гнедок. Но для чего я обязан выискивать эти знаки? Разве мне недостаточно установленной вины именно этого человека, чтобы передать его под руку светской власти? В любом случае дело закончится казнью, упокой Господи его греховную душу».

«Однако, помнится, три года назад на процессе в Килкенни по делу о попрании нравственности был вынесен приговор, гласивший, что в подсудимых вселился дьявол, и вы его не оспаривали».

«Не я составил его. Я и не оспаривал, это правда. Кто я, чтобы судить о путях распространения зла? В особенности если, – и Вильгельм голосом подчеркнул, что это главный довод, – если в ходе процесса все, кто возбудил расследование, – и епископ, и городские власти, и население, и, надо думать, сами подсудимые, – все действительно жаждали обвинить в преступлении дьявольскую силу? Вот, по-моему, единственное веское доказательство работы дьявола: это упорство, с которым люди, причастные к процессам, обычно твердят, будто узнают нечистого по делам его».

«Значит, – тревогой спросил Аббат, – по-вашему, во многих процессах дьявол движет не только преступниками, но также – или даже в первую очередь – судьями?»

«А разве можно утверждать подобное? – переспросил Вильгельм. И я отметил: вопрос построен так, чтобы Аббату было неудобно настаивать на своем. Воспользовавшись его замешательством, Вильгельм сменил тему: – Но все это давние дела. Теперь я оставил благородные обязанности судопроизводства. Выполнял я их по велению Господню...»

«Несомненно...» – вернул Настоятель.

«...а ныне, – продолжал Вильгельм, – занимаюсь иными, не менее щекотливыми делами. Готов заняться и вашим, как только вы расскажете, что случилось».

Настоятель был, видимо, рад перейти к изложению вопроса. Рассказывал он

осторожно, взвешивая слова, используя длинные перифразы и где возможно обходясь намеками. Событие, о котором шла речь, случилось несколько дней назад и сильно напугало монахов аббатства. Настоятель сказал, что обращается к Вильгельму как к знатоку человеческой натуры и следопыту дьявольских ухищрений и надеется, что тот, уделив новому расследованию толику своего драгоценнейшего времени, прольет свет истины на печальную загадку. Известно было вот что. Адельма Отрантского, молодого монаха, но уже прославленного, несмотря на молодость, искуснейшего рисовальщика, украшавшего рукописи монастырского собрания великолепными миниатюрами, рано утром нашел козопас на дне обрыва под восточной башней Храмины. Поскольку на повечерии монахи видели Адельму в хоре, а к полунощнице он не явился, предполагается, что монах упал в пропасть в самые темные часы ночи. То была ночь с бурной грозой, со снегом, и льдины вонзались в землю, как бритвы. Шел крупный град. Непогодой заправлял безудержный северный ветер. Снег то таял, то снова смерзался в острые сосульки-лезвия. Избитое, изорванное тело нашли под отвесным обрывом. Бедная брменная плоть, да упокоит Господь его душу. Ударяясь о скалы, тело несколько раз меняло траекторию, и трудно сказать, из какой именно точки началось падение: то есть из какого именно окна башни, смотрящей на пропасть четырьмя стенами, в каждой по три этажа окон.

«Где вы похоронили несчастное тело?» – спросил Вильгельм.

«Разумеется, на кладбище, – ответил Настоятель. – Оно располагается от северной стены церкви до Храмины и огородов».

«Понятно, – сказал Вильгельм. – Понятно и ваше дело. Если бы несчастный юноша оказался, Господи упаси, самоубийцей (поелику возможность случайного падения из окна заведомо исключена), на следующее утро вы должны были найти одно из окон Храмины растворенным. А между тем

все окна были закрыты, и ни под одним не было потеков воды».

Настоятель, как я уже говорил, был человек в высшей степени сдержанный и дипломатичный. Но тут он от изумления растерял все ораторские навыки, которые, по Аристотелю, приличествуют важному и великодушному мужу: «Кто вам сказал?»

«Вы, – ответил Вильгельм. – Если бы окно было открыто, вы знали бы, откуда он упал. Как я заметил при осмотре снаружи, речь идет о больших окнах с матовым остеклением. Такие окна в подобных массивных зданиях отворяются выше человеческого роста. Следовательно, совершенно



Фома Аквинский (1225–1274)
Комментарий к «Метафизике».
Комментарий к «Причинам»
1275–1300

исключено, чтобы пострадавший выглянул и случайно потерял равновесие. Поэтому открытое окно недвусмысленно указывало бы на самоубийство. И вы бы не могли допустить погребения его в освященной земле. Но он похоронен как христианин. Это значит, что все окна были заперты. А поскольку они были заперты и поскольку

